

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

ОЛЬГА
ЧАЙКОВСКАЯ



ИМПЕРАТРИЦА
ЦАРСТВОВАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II

Супер-премьеры кино и ТВ

Ольга Чайковская

**Екатерина Великая. Императрица:
царствование Екатерины II**

«Яуза»

2019

УДК 929(470)
ББК 63.3(2)46-8

Чайковская О. Г.

Екатерина Великая. Императрица: царствование Екатерины II /
О. Г. Чайковская — «Яуза», 2019 — (Супер-премьеры кино и ТВ)

ISBN 978-5-04-108840-8

К ПРЕМЬЕРЕ СЕРИАЛА КАНАЛА НВО «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ» И ДОЛГОЖДАННОМУ ПРОДОЛЖЕНИЮ СЕРИАЛА «ЕКАТЕРИНА» НА КАНАЛЕ «РОССИЯ»! Ее 34-летнее царствование по праву величают «золотым веком» Российской империи, а ее саму – лучшей из императриц. Победы и свершения Екатерины Великой прославлены в веках, именно она превратила Россию в сверхдержаву, в которой, по словам «екатерининских орлов», «ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не могла». Эта книга – не только замечательная биография гениальной императрицы, но также история любви стойкой и смелой женщины, которая под бриллиантовой короной, золотой мантией и царскими регалиями прежде всего оставалась человеком со своими слабостями и страстями. Имена людей, сыгравших свою роль в становлении и жизни великой императрицы, навечно вписаны в русскую историю золотом, а их заслуги перед Отечеством неоспоримы.

УДК 929(470)
ББК 63.3(2)46-8

ISBN 978-5-04-108840-8

© Чайковская О. Г., 2019
© Яуза, 2019

Содержание

Глава первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Ольга Чайковская

Екатерина Великая. Императрица: царствование Екатерины II

К ПРЕМЬЕРЕ СЕРИАЛА КАНАЛА НВО «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ» И ДОЛГО-
ЖДАННОМУ ПРОДОЛЖЕНИЮ СЕРИАЛА «ЕКАТЕРИНА» НА КАНАЛЕ «РОССИЯ»!



Глава первая

Они сидят на подоконнике, очень высоком, их ноги до полу не достают. Сидят притихшие, не спуская глаз с двери напротив.

Он постарше, но мал ростом, тщедушен и ребячлив. Она, вытянувшаяся за время болезни, худа, как скелет, и (так думает она сама) страшна, как смертный грех. За те несколько месяцев, что она в России, они уже привыкли друг к другу, и он, ее жених, поведал ей великую тайну: он влюблен во фрейлину Лопухину и хотел бы на ней жениться, но увы, она удалена от двора. Девочка знает, с матерью этой фрейлины произошло что-то ужасное – кажется, ее казнили страшной казнью, немудрено, что дочь удалена от двора. Зачем же на ней жениться? Ее ничуть не огорчило, что он ей, своей невесте, рассказывал, как любит другую; она уже поняла: этот мальчик не так-то ей и нужен, зато ей очень нужна российская корона.

И вот теперь, притихшие, сидят они на подоконнике, а прямо против них дверь, там идет разговор, который должен решить их судьбу.

– Если ваша мать и виновата, – говорит он, – это не значит, что вы тоже виноваты.

– Она моя мать, – отвечает девочка.

Но все-таки они дети и начинают болтать о постороннем, смеяться потихоньку, а потом и вовсе хохотать.

Резко распахнувшаяся дверь застает их врасплох, к ним выходит граф Лесток, приближенный императрицы.

– Этому шумному веселью скоро конец, – говорит он и поворачивается к девочке: – Вам пора собираться, вы возвращаетесь домой.

Она ничего не может понять – ее так хорошо встречали в России, она изо всех сил учит русский язык, зубрит по ночам... Ужас все больше овладевает ею: значит, теперь с позором тащиться обратно в Германию?..

Она не может произнести ни слова, мальчик пытается узнать у Лестока, что случилось.

– Сейчас узнаете, – говорит тот и уходит.

Теперь они и вовсе притихли.

Наконец в дверях появилась сама Елизавета Петровна, она, как видно, в большом гневе. Дети поспешно спрыгивают с подоконника. Императрица остановилась, посмотрела на них, улыбнулась, поцеловала сперва одну, потом другого и пошла, шумя платьем.

Может быть, все-таки они не уезжают?

Но вид матери (она вышла вслед за императрицей), ее красное, мокрое от слез лицо говорят ей: нет, уезжают.

Вот они и появились перед нами (вместе с той тревогой, в которой живут непрестанно) – участники будущих трагедий: императрица Елизавета Петровна, ее наследник великий князь Петр Федорович и та, которую все еще зовут Софией Фредерикой Августой, принцессой Ангальт-Цербстской, и которая скоро станет Екатериной и русской великой княгиней (ее мать мы оставим в стороне, она скоро уедет и больше никогда не увидит своей дочери). Итак – трое, и начнем мы, конечно, с Елизаветы Петровны, она сейчас хозяйка положения.

У нее прочная историческая репутация: была очень весела, очень легкомысленна, страстно любила балы и роскошь туалетов (говорят, никогда дважды не надевала одно и то же платье, а переодевалась несколько раз на день, это значит – многотысячный гардероб); была также редкостно невежественна и несколько злоупотребляла токайским вином.

Екатерина в Записках рисует другой портрет, куда более интересный.

* * *

Елизавета Петровна была хороша собой, пишет Екатерина, так хороша, что глаз не отве-сти (все бы смотреть и смотреть! – особенно когда императрица в мужском костюме танцует менуэт).

Но характер ее был странен, и образ жизни – удивителен. Ее отличали крайнее непостоянство и резкая смена настроений. «Никто никогда не знал часа, когда Ее Величеству угодно будет обедать или ужинать, и часто случалось, что придворные, проиграв в карты (единственное их развлечение) до двух часов ночи, ложились спать, и только что они успевали заснуть, как их будили для того, чтобы присутствовать на ужине Ее Величества, они являлись туда, и так как они сидели за столом очень долго, а все они, усталые и полусонные, не говорили ни слова, то императрица сердилась, говоря: «Они любят быть только в своей компании; я их так редко зову, да и то они только и делают, что зевают и нисколько не хотят развлечь меня». Эти ужины иногда кончались тем, что императрица бросала на стол салфетку и уходила.

Между тем, продолжает Екатерина, «говорить в присутствии Ее Величества было задачей не менее трудной, чем знать ее обеденный час. Было множество тем разговора, которых она не любила; например, не следовало совсем говорить ни о прусском короле, ни о Вольтере, ни о болезнях, ни о покойниках, ни о красивых женщинах, ни о французских манерах, ни о науке; все эти предметы разговора ей не нравились. Кроме того, у нее было множество суеверий, которых не следовало оскорблять».

Елизавета встретила юную Ангальт-Цербстскую принцессу очень ласково и в первое время была к ней внимательна и сердечна (и плакала, когда девочка заболела), но впоследствии так круто взялась за нее, что жизнь юной великой княгини стала каторгой. И все же, вспоминая свою жестокую тюремщицу, Екатерина отзывается о ней очень мягко и, главное, старается понять этот характер и правдиво его описать.

Она была умна, пишет Екатерина, и добра, и строй чувств имела возвышенный, но тщеславна, хотела блистать, всех затмевая; ее красота и врожденная лень, несомненно, испортили ее природный характер. Казалось бы, с такой красотой ей не страшно было никакое соперничество, тем не менее «все женщины, не слишком безобразные», вызывали в ней раздражение, а ревность часто толкала ее «на мелочные поступки, недостойные Величества».

Она получила дурное воспитание, поскольку была незаконнорожденной (и считалась таковой до тех пор, пока Петр не короновал свою вторую жену Екатерину), а природная лень помешала ей заняться самообразованием. «Льстецы и сплетницы довершили дело», ее жизнь стала «цепью капризов, ханжества и распущенности, а так как она не имела ни одного твердого принципа и не была занята ни одним серьезным и солидным делом, то при ее большом уме она впала в такую скуку, что в последние годы своей жизни она не могла найти лучшего средства, чтобы развлечься, как спать, сколько могла; остальное время женщина, специально для этого приставленная, рассказывала ей сказки». Так о Елизавете писала Екатерина.

Одно можно сказать о Елизавете Петровне с уверенностью: она была лихорадочна, не умела долго оставаться в покое. Несмотря на свою неистовую набожность, даже в церкви переходила с места на место (для нее поэтому ставили два-три царских места). Вечно куда-то мчалась, то в Москву, то в загородный дворец к кому-нибудь погостить, то на богомолье – при этом коней гнала бешено, и двор за ней не поспевал. Спала то в одной спальне, то в другой, но все равно покоя ей не было, во сне стонала и металась, а если положить ей руку на лоб и

сказать тихо: «Лебедь белая», – успокаивалась; поэтому к ней был приставлен специальный человек, который клал ей руку на лоб, говорил: «Лебедь белая», и она засыпала¹.

Была она мягкосердечна: когда ворвалась со своими гвардейцами в покои, где находилась Анна Леопольдовна, правительница, со своим сыном, годовалым императором, сама вынула его из колыбели и со слезами на глазах поцеловала; но тут же, у колыбели, отдала маленького императора в руки тюремщиков (он, пережив Елизавету Петровну, так и погиб в тюрьме, о чем у нас речь впереди).

Ее доброта и сердечность не были напускными: придя к власти, она поклялась, что при ней ни один человек не погибнет на плахе, и сдержала свое слово. Правда, была одна история, которая уж никак с мягкосердечием не совмещается. В начале царствования, когда трон ее был еще очень неустойчив и при дворе шла грызня партий, в ходе этой грызни был сфабрикован заговор, известный как «дело Лопухиных», весь построенный на доносах и пыточных речах.

Род Лопухиных был оппозиционен Петру и его потомкам. Из Лопухиных была первая жена Петра, которую он насильно отправил в монастырь; их сын, царевич Алексей, казненный отцом, в глазах многих был бы законным царем, в то время как она, Елизавета, дочь безродной литовской служанки, законной наследницей престола не была. Но, может быть, вся суть этого дела заключалась в личности княгини Натальи Федоровны Лопухиной.

Она была признанной красавицей, говорят, затмевала Елизавету на балах императрицы Анны; была любезна, что на языке эпохи значило – обаятельна, да к тому же еще и образованна.

Много темного и злого проснулось тогда в душе Елизаветы – и подозрительность (нет ли тут действительно заговора, грозящего ее власти), и едва ли не врожденная ненависть к Лопухиным, и лютая зависть к знаменитой красавице. Нет, она не согласилась на смертную казнь, но придумала такую, что уж лучше бы просто отрубила княгине голову. Ее, красавицу, умницу (и статс-даму), били на площади кнутом, потом отрезали язык (и ее сыну, и ее мужу) и сослали в Сибирь (о ней-то и шла речь между Екатериной и ее женихом, когда мальчик признался, что влюблен в дочь Натальи Федоровны и готов на ней жениться, а девочка удивлялась его безрассудству).

И все же, придя к власти, Елизавета Петровна поклялась, что при ней никто не будет «казнен смертью». Даже своего заклятого врага графа Миниха она не казнила, но и тут не удержалась и провела его через всю процедуру казни – ему сообщили о помиловании, когда он уже положил голову на плаху.

Та звериная жестокость, какую обнаружила она в деле Лопухиных, проснулась в ней только однажды, но мелкие жестокости могли случиться в любую минуту, и фрейлины ее, те, у кого были особенно красивые прически, плакали, жалуясь, что ее величество ножницами собственноручно срезает им локоны, прихватывая при этом и кусочки кожи.

Странной женщиной была Елизавета Петровна, и юмор у нее, а манера шутить во многом определяет человека, был странный.

Великий князь, о котором говорили, что он ухаживает за всеми женщинами, кроме своей жены, стал оказывать усиленное внимание баронессе Марфе Шафировой. Однажды в Новый год императрица за обедом спросила, что это там сидит за особа, такая тощая и с журавлиной шеей. Ей назвали Шафирову, она расхохоталась и ответила пословицей: шейка тонка, на виселицу годна. Славная шутка тотчас полетела по всему двору и пользовалась большим успехом.

Да, странной женщиной была Елизавета Петровна; и, уж во всяком случае, веселой ее не назовешь. Официальные портреты изображают ее недвижной куклой в горностаевой мантии,

¹ Кстати, покажем, как работает иной автор исторического романа с подлинным жизненным материалом. Эпизод с «лебедью белой», в сущности, лирический, В. Пиккуль изложил так. Елизавета, «простоволосая и распаренная», валяется в продавленных пуховиках, вошел придворный истопник и с криком: «Эх ты, лебедь белая!», «вдруг чмокнул императрицу в румяную пятку, торчавшую из кружев». Подобных «румяных пяткок» в романах и данного автора, и многих других – видимо-невидимо. Самое ужасное в том, что читатели эти «пятки» заглаживают, не протестуя и не сопротивляясь.

в бриллиантах и огромных фижмах. Но есть один портрет, гравированный дивным мастером, рано умершим Евграфом Чемесовым, – вещь редкой красоты и тончайшего психологизма. В мягком привлекательном лице царицы художник различил и нервную неустойчивость, и тайную тревогу.

* * *

Король откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. Все, бывшие за пиршественным столом, повскакивали со своих мест. Лейб-медик напрасно пытался нащупать пульс. Нет, король был жив, но его снедала глубокая тоска. И королева бросилась к его ногам. «О, мой царственный супруг! – воскликнула она. – О, какое горе пришлось вам вынести! Взгляните: виновница у ваших ног!»

Эта сцена, столь же трагическая, сколь трогательная, была результатом ряда событий. Дело в том, что у короля родилась дочь, по этому случаю предполагались большие торжества (тем более что в стране уже начали колоть свиней), и он попросил королеву лично заняться приготовлением знаменитых в их королевстве колбас. Когда из кухни пошел восхитительный запах колбасного навара, король, не вытерпев, прервал заседание государственного совета, отправился на кухню, помешал немножко своим скипетром в котле и, успокоенный, вернулся в зал (разумеется, я рассказываю гофманского «Щелкунчика»). Король, который мешал скипетром в котле с колбасным наваром, мог родиться только в Германии XVIII века, раздробленной на крошечные государства – королевства и княжества с их особым характером: огромные амбиции – и крошечная территория, громкий титул, пышный герб – и узость кругозора. Своя армия со сверхстрогой дисциплиной, двор со сверхчопорным этикетом, дворец, который пытается подражать Версалию, – и полунищета.

К XVIII веку немецкие князья стали абсолютными монархами, и каждый самостоятельно мешал скипетром в собственном колбасном наваре.

В немецких княжествах росли выгодные невесты: европейские государи получали в жены высокородных принцесс, за которыми не было ни сильного государства, ни могущественной родни. На немецких принцесс был огромный спрос, их в германских княжествах стали растить «на продажу», как крестьянин выращивал у себя на грядках овощи, чтобы нести их в соседний барский дом. Из таких принцесс и наша Екатерина.

Петр I, и тут переняв европейский обычай, послал царевича Алексея в Германию выбрать себе жену, а тот отчаянно не хотел такого брака, ему нужна была русская и православная. Царевич все тянул, надеялся, что отец передумает, но Петр требовал, давил, и Алексей выбрал принцессу Шарлотту Вольфенбюттельскую, надеясь, что она будет «добр человек» (она, по его словам, оказалась «чертовкой»). С тех пор до самой революции русские цари и великие князья искали жен в немецких княжеских фамилиях.

Поскольку армии немецких принцев не воевали, воинственность этих государей проявлялась главным образом в военной муштре и военных парадах. Мелкие подробности военной службы стали их главной целью.

Длина косы, специально выверенная, форма буклей, толщина слоя пудры, мундир, не позволявший ни повернуться, ни дышать, но который должен был быть без единой складки; пуговицы и пряжки, непременно начищенные до блеска. Тяжелые ботфорты, нелепый шаг, сложнейшие фигуры и позиции, которые необходимо было оттачивать, маневры, требовавшие неслыханной слаженности. Голштиния, где родился Карл-Петр-Ульрих, была именно таким крошечным немецким государством, мальчик жил в этом мирке, в тисках той же дисциплины (вплоть до телесных наказаний). Он был не только задавлен ею, этой военной дисциплиной, он был ею пленен и служил ей изо всех своих маленьких детских сил.

При дворе герцога Голштинского званый обед, он проходит со всей положенной церемонностью. А принц Ульрих (ему девять) тут же стоит у дверей на часах. Он мал ростом и слаб здоровьем, ему трудно так долго стоять, но он, разумеется, и помыслить не может о том, чтобы подойти к отцу, – мальчик понимает: он на службе. А впрочем, если бы он и не был в тот час назначен в караул, ему все равно нельзя сесть за стол: не вышел чином – все еще унтер-офицер.

Он не только устал, он еще и голоден и с тоской смотрит на тех, кто за столом поглощает вкусные кушанья. И вдруг – о чудо! Отец подозвал его к себе, «поздравил лейтенантом» и пригласил к столу – «по его новому чину». Мальчик был так потрясен этим повышением в чине, что почти ничего не мог есть. То был самый счастливый день в его жизни (так рассказал он сам уже в России своему наставнику).

Ему еще и потому пришлось нелегко, этому маленькому герцогу, что сперва его готовили в наследники шведского престола, учили шведскому, обучали основам лютеранской религии, делали из него шведского патриота, традиционно ненавидящего Россию. Когда стало известно, что Елизавета Петровна собирается объявить его своим наследником, мальчика принялись переучивать в духе патриотизма российского и преподавать ему православие. Маленький герцог был совершенно сбит с толку.

Конечно, он был потрясен, когда из своего тесного, но прочного мирка, где царил неукоснительный порядок, попал в хаос елизаветинского двора. Эти ночи, превращенные в дни, эти непрестанные балы, которые могли быть прерваны в самый разгар, потому что царица вздумала собираться и куда-то ехать – и они все едут, чтобы вернуться с полдороги. Бешено скакали кони государыни, за ней, как могли, поспешали ее придворные – она таскала за собой свой двор, и Екатерина с Петром обязаны были тащиться тоже. Императрица останавливалась во дворце, а придворные – как придется, то во флигелях, то в прачечных или пекарнях, а то и просто неподалеку раскидывались палатки (и когда шел дождь, ножки кроватей стояли в воде). Флигеля, которые отводились придворным, как правило, были ветхими, там трещали балки и полы ходили ходуном.

Чаще всего Елизавета Петровна ездила в имение Алексея Разумовского, своего давнего возлюбленного (и, если верить весьма устойчивым слухам, морганатического мужа). Екатерина и Петр облюбовали здесь себе большой двухэтажный деревянный дом, из окон которого открывался замечательный вид. Ночью в спальню Екатерины ворвался один из придворных и сказал: надо спасаться, фундамент дома опускается. Не успела она одеться, как послышался шум, «подобный тому, какой производит линейное судно, спускаясь с верфи», и тут же все они повалились на пол, который стал двигаться, как палуба в бурную погоду. Вбежал сержант Преображенского полка Левашов, схватил Екатерину на руки и вынес из дома, в котором уже рушились печи и откуда вскоре понесут раненых и мертвых. Жертв было бы куда больше, пишет Екатерина, если бы сержант Левашов не поднял тревоги.

Немного погодя их позвала к себе императрица, и Екатерина стала просить у нее награды для мужественного сержанта, но Елизавета только косо взглянула и не произнесла ни слова. Она не желала слышать о несчастье. Зато Разумовский был в отчаянии, хотел застрелиться, за обедом, рыдая, поднял тост за собственную погибель – и Елизавета была тронута до слез.

Этот дом, принадлежавший одному из самых богатых и блестящих вельмож России и рухнувший за одну ночь, весь ужас тех часов, раненые и убитые; императрица, которая ничего не хотела знать о катастрофе (зато бросила в крепость несколько ни в чем не повинных слуг), – все это казалось знаком того великого беспорядка, который царил не только при дворе, но и во всей России.

Как же должен был все это ненавидеть немецкий мальчик, привыкший к прочности и порядку! Он тосковал и говорил, что предпочел бы уехать в Швецию. Он не хотел учиться русскому языку, не желал ходить в православную церковь – после простоты лютеранского храма пышность православного, с его огромным золоченым иконостасом, драгоценными окладами

икон, сиянием паникадил, его раздражала; вместо строгих лютеранских пасторов с их бритыми лицами и черными одеждами русские священники, бородатые, кудлатые, громогласные, в сверкающих ризах – ничего этого он принять не мог.

Чем дольше он жил в России, тем дороже становилась ему родная Голштиния. «Сей князь питал необычайную страсть к этому клочку земли», – пишет Екатерина с явным неодобрением. Он был счастлив, когда встречал земляка, мог часами рассказывать о родной земле, которую покинул, когда ему было лет двенадцать-тринадцать, и, по уверению той же Екатерины, плел о ней всяческие небылицы.

Однажды ночью по дороге из Москвы в Петербург встретились две кареты, обе мчали во весь опор. Они остановились на мгновение и понеслись дальше. Дело в том, что Елизавета оставила двор в селе Хотилове, поскольку великий князь прихворнул, а сама погнала в Петербург. Между тем в ее отсутствие обнаружилось, что у Петра Федоровича оспа, и Иоганна Елизавета, мать Екатерины, тотчас велела запрягать, схватила дочь и помчалась следом за императрицей (в чем мы герцогиню Ангальт-Цербстскую не можем упрекнуть). Ночью на дороге кареты встретились, потому что Елизавета Петровна повернула и теперь, пишет Екатерина, «во весь дух мчалась к великому князю и оставалась с ним во время всей его долгой болезни». Как видно, она этого мальчика любила, если ради него готова была рисковать жизнью и красотой.

Когда наследник престола вновь появился при дворе, он был так страшен, что Екатерина, впервые встретившись с ним, едва могла скрыть свой ужас. (Так впервые повстречалась она с оспой и увидела, как беспощадна эта болезнь, даже если оставляет в живых. Она боялась ее панически всю жизнь – до того дня, пока не решила вступить с ней в открытую борьбу.)

А великий князь? К постоянному раздражению, в котором он жил, прибавилось еще и ужасное сознание собственного уродства. Кажется, единственное спасение его состояло в том, что он был ребячлив, – и ушел в мир, где ему, надо думать, было всего легче жить.

Он забавлялся тем, «что обучал военному делу своих лакеев, камердинеров, карлов (кажется, и у меня был чин), – пишет Екатерина, – упражнял их и муштровал: то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего: смотря по тому, как вздумается. Это были настоящие детские игры». В Петергофе, где все было на виду и великий князь не смел муштровать своих слуг, он обучал военному делу жену. «Благодаря ему, – пишет Екатерина, – я до сих пор умею исполнять все ружейные приемы с точностью самого опытного grenадера».

Но все же войско, состоящее из лакеев и шутов, было неповоротливо и пассивно (а тут еще присутствие ироничной жены). Игрушечные солдаты, офицеры и генералы были куда сообразительней и поворотливей, выполняли нужные маневры, смело шли в атаку и приступом брали игрушечные крепости.

«Барабанщик, мой верный вассал, бей общее наступление! – громко скомандовал Щелкунчик.

И тотчас барабанщик начал выбивать дробь искуснейшим манером...

И начался бой! Полки выстроились в боевом порядке, пушки выехали вперед и пошли бухать: «бум-бум!» А мыши во главе со своим королем визжали...»

В сознании голштинского принца, а ныне российского великого князя поселилась такая вот фантастика, только она была вовсе не так весела, как гофманская, так как отдавала болезнью, а подчас приобретала и сумрачный характер. А тема грызунов тут обернулась уже вовсе кошмарным спектаклем.

Однажды, войдя в покои великого князя, рассказывает Екатерина, она была «поражена при виде здоровенной крысы, которую он приказал повесить, и всей обстановкой казни». Петр объяснил, «что эта крыса совершила уголовное преступление и заслуживает строжайшей казни по военным законам, что она перелезла через вал картонной крепости и съела двух часовых на карауле, сделанных из крахмала, на одном из бастионов, и что он велел судить преступника по законам военного времени», и что «крыса останется там, выставленная напоказ публике

в течение трех дней, для назидания». Екатерина расхохоталась и ушла, сославшись на свое «женское незнание военных законов», и великий князь долго дулся на нее за ее смех. Тут же будущая великая законодательница прибавляет, что «можно было по крайней мере сказать в оправдание крысе, что ее повесили, не спросив и не выслушав ее оправданий».

На самом деле веселого тут было мало, особенно если учесть, что Петру Федоровичу в это время было уже за двадцать.

Таков был наследник престола, избранный Елизаветой Петровной. В обоих хватало безумия, и, может быть, оба они получили его от Петра I (она – от отца, он – от деда), но никому из них не досталось ни грана его дарований.

А главная наша героиня, немецкая девочка, была на редкость уравновешенна и здорова, как душой, так и телом.

Она, София Фредерика Августа, тоже родилась в одном из крошечных немецких княжеств и тоже росла в его тесном стоячем мирке с той же дисциплиной, с тем же этикетом; впрочем, мир, в котором жила юная Ангальт-Цербстская принцесса, был мягче голштинского. Но и этому миру она сопротивлялась.

«Я отличалась в то время живостью чрезвычайной; меня укладывали спать рано (женщины уходили в другую комнату поболтать). Чтобы они поскорее ушли, я делала вид, что сразу заснула, и, только лишь оставалась одна, садилась верхом на подушку и скакала в кровати до изнеможения. Помню, что я поднимала такую возню, что мои прислужницы прибегали взглянуть, в чем дело, но находили меня уже лежащей, я притворялась, что сплю; меня не поймали ни разу, и никто никогда не узнал, что я носилась на почтовых у себя в постели верхом на подушке».

Девочка нашла свою нишу независимости и жила в состоянии тайного бунта. Ей было запрещено бегать по парадной лестнице? Она как ветер проносилась по ней ночью.

Очевидно, она хотела свободы не только для себя. У нее была тетушка, старая дева, обладавшая некоторыми странностями (так, «она претендовала на законный брак со всеми принцами Германии, какие только попадались ей на глаза, и недоставало только их согласия, чтоб она сделала хорошую партию»); у нее была коллекция птиц. «Я видела в ее комнате дрозда с одной ногой, жаворонка с вывихнутым крылом, кривоногого щегленка, курицу, которой петух прошиб полголовы, петуха, которому кошка общипала хвост, соловья, которого наполовину разбил паралич, попугая, который обезножил и потому лежал на брюхе, и много всякого рода других птиц, которые гуляли и свободно летали по комнате». Маленькая Екатерина, улучив минуту, открыла окно и, разумеется, тут же убежала со всех ног. Ни на один из подобных поступков принц Ульрих не был способен. Маленький немецкий принц был рабом и любил свое рабство. Маленькая немецкая принцесса бунтовала.

Как ни странно, она, полуребенок, весьма энергично содействовала своему приезду в Россию. Впрочем, как и другие немецкие принцессы, она привыкла к разговорам о династическом браке, примеривая себе того или другого жениха. Когда стало известно, что голштинский герцог Ульрих отказался от шведского престола, принял православие и стал русским наследным принцем, начались намеки, таинственные улыбки – все это сообразительная девочка тотчас уловила. Потом в Россию послали ее портрет, потом в Штеттине был проездом камер-юнкер Елизаветы и попросил разрешения взглянуть на принцессу.

Это было 1 января 1744 года. Семья обедала, когда Христиану Августу, отцу Софии Фредерики Августы, принесли письмо. У девочки был острый взгляд, она разглядела, что письмо из России, и ухватила строчку: «с принцессой, вашей старшей дочерью». Родители заперлись, в доме поднялась суета – оказалось, что мать, у которой были не то свои планы, не то какие-то сомнения, в Петербург ехать отказывается.

Но утром девочка твердо вошла в спальню матери и сказала, что знает содержание письма. «Откуда?» – спросила мать. «Через гадание», – ответила дочь и пояснила, что владеет этим искусством. Мать рассмеялась и сказала: «Ну, если вы, сударыня, такая ученая, то вам остается отгадать всего лишь содержание письма, оно в двенадцать страниц». Девочка ответила, что постарается, а после обеда принесла матери записку, в которой собственной рукою написала: «Предвещаю ко всему, что Петр III будет твоим супругом». «Мать прочла и казалась несколько удивленной, – продолжает свои воспоминания Екатерина. – Я воспользовалась этой минутой, чтобы сказать ей, что если действительно ей делают подобные предложения из России, то не следовало от них отказываться, что это было бы счастье для меня». Иоганна Елизавета высказала свою тревогу: Россия страна малоустойчивая, это рискованно. Дочь ответила, что об устойчивости России позаботится Бог, если будет на то его воля, что она готова подвергнуться опасности и что сердце ей говорит; все будет хорошо. Можно предположить, что сердце юной Ангальт-Цербстской принцессы громче всего говорило другое: риск – благородное дело.

Оказалось, что и умный отец ее тоже в сомнениях, ему девочка привела другой довод: ее поездка в Россию их ни к чему не обязывает, они с матерью на месте поймут, оставаться им или ехать домой.

Иоганна Елизавета была неважной матерью, однако оказала дочери две крупные услуги: мало занималась ею, тем самым предоставив ей относительную свободу, и убедила девочку, что та дурна собой, что на свою внешность в жизненных успехах она рассчитывать не должна и что этот природный недостаток нужно возмещать «приобретением ума и достоинства». Материнским советом девочка воспользовалась вполне.

Маленькая принцесса крошечного Ангальт-Цербста, конечно, не имела ни малейшего понятия о том, какая жаркая борьба идет между европейскими государями за возможность сделать свою ставленницу женой наследника русского престола. Но уже в пути она почувствовала, что становится немаловажной персоной: ее позвал к себе сам Фридрих II Прусский, более того, пригласил на обед и даже посадил рядом с собой.

Из Берлина они направились в Штеттин, где девочка простилась с отцом, которого любила (и которого ей тоже не суждено было более увидеть), потом двинулись в Митаву, столицу Курляндии, оттуда в Ригу, где их уже встречали пушечной пальбой, приветствовали русские вельможи во главе с С. Нарышкиным; в распоряжении гостей были уже ливрейные лакеи, придворная кухня и экипаж от двора.

И вот обе они, две нищие принцессы, лежат в возках, поставленных на полозья, подбитых изнутри черно-бурыми лисами (девочка не знала, как в этот возок залезть, ей сказали, нужно шагнуть, высоко подняв ногу, и она, вспоминая о том, как влезала, каждый раз принималась хохотать).

В Петербург они тоже въехали при громе пушек и сразу были помещены в Зимний дворец (еще старый, не Растрелли).

Елизавета Петровна вышла к ним «чрезвычайно разодетая: на ней было коричневое платье, расшитое серебром, – вспоминает Екатерина, – и она вся была покрыта бриллиантами, то есть голова, шея, лиф; обер-егермейстер, граф Алексей Григорьевич Разумовский, следовал за нею. Это был один из красивейших мужчин, каких я видела на своем веку. Он нес на золотом блюде знаки ордена Св. Екатерины (этот женский орден был учрежден Петром I. – *О.Ч.*). Я была немного ближе к двери, чем мать. Императрица возложила на меня орден Св. Екатерины, а потом оказала такую же честь матери и в заключение нас поцеловала». И только началась была светская жизнь Екатерины, как вдруг она сильно заболела – это была та самая болезнь, после которой она выросла и так похудела, что походила на скелет. Елизавета, которая была в отъезде, вернувшись, прямо из кареты прошла в ее комнату и держала девочку на руках все время, пока той пускали кровь (основной метод лечения серьезных болезней в те времена).

Девочка выздоравливала медленно, она лежала с закрытыми глазами и вслушивалась в тот мир, где ей предстояло жить. Чисто женский мир, взволнованный беспрестанными заботами, мелкими ревностями и завистями, крупными бестактностями. Немало забот доставляла ей мать. «Около Пасхи однажды утром, – рассказывает Екатерина, – матери вздумалось прислать сказать мне с горничной, чтобы я ей уступила голубую с серебром материю, которую брат отца подарил мне перед моим отъездом в Россию, потому что она мне очень понравилась. Я велела ей сказать, что она вольна ее взять, но что, право, я ее очень люблю, потому что дядя мне ее подарил, видя, что она мне нравится. Окружающие меня, видя, что я отдаю матери скрепя сердце и ввиду того, что я так долго лежу в постели, находясь между жизнью и смертью, и что мне стало лучше всего дня два, стали меж собой говорить, что весьма неразумно со стороны матери причинять умирающему ребенку малейшее неудовольствие, и что, вместо желания отобрать эту материю, она лучше бы сделала, не упоминая о ней вовсе. Пошли рассказать об этом императрице, которая немедленно прислала мне несколько кусков богатых и роскошных материй и, между прочим, одну голубую с серебром; это повредило моей матери в глазах императрицы: ее обвиняли в том, что у нее вовсе нет нежности ко мне, ни бережности». В этом женском мире Екатерина должна была жить еще долгие годы.

Между тем немецкой принцессе предстоял важный шаг – перемена веры, поскольку условием брака с русским великим князем был ее переход в православие. Автор одной из недавних книг о Екатерине А. Каменский полагает, что с этой переменной веры произошло первое предательство в жизни Екатерины. Я не могу с этим согласиться².

А. Каменский рассматривает переход будущей Екатерины в православие в связи с ее отношениями с отцом, которого она уважала и любила и который сам был «непоколебимо религиозен». Отправляя дочь в далекую и «неустойчивую» Россию, принц Христиан Август написал для нее наставление, где говорил, что ничто не должно заставить принцессу переменить веру, если она найдет ее не согласной с лютеранской.

Этому строгому и прямому указанию отца А. Каменский противопоставляет уклончивость дочери, которая сперва уверяет его, будто собирается неукоснительно следовать его отцовским советам (они «навечно останутся запечатленными в моем сердце, так же как и семена нашей святой религии останутся в моей душе»). Затем она сообщает, что не находит почти никакой разницы между верами греческой и лютеранской и потому решила переменить вероисповедание. Эти письма к отцу примечательны тем, пишет А. Каменский, «как постепенно и ловко четырнадцатилетняя девочка приучает его и к перемене ею религии, и к своему новому имени – Екатерина. Можно предположить, – продолжает он, – что переход в православие был совсем не так безболезнен, как может показаться из ее писем, он был сопряжен с преодолением некоего нравственного порога, с ломкой сознания, совершившейся далеко не сразу».

Полагаю, что порог тут был невелик, а болезненной ломки сознания и вовсе не было. Уже ко времени ее приезда в Россию у Ангальт-Цербстской принцессы сложились свои отношения с религией, тому способствовала природная живость ума, не желавшего ничего принимать на веру, та свобода, которая была ей предоставлена, вольный образ жизни ее матери, благодаря чему круг их знакомств был очень широк и разнообразен, самая атмосфера эпохи Просвещения – все это делало девочку вольнодумной и даже, как было замечено окружающими, склонной к ереси.

«Помню, – пишет она в своих воспоминаниях о детстве, – у меня было несколько споров с моим наставником; из-за них я чуть не попробовала плети. Первый спор был из-за того, что

² Отмечу сразу, что ни в какой мере не собираюсь выступать тут против самой книги А. Каменского. Автор отнесся к Екатерине с уважением, оценил значение екатерининского века и тем самым отчасти восполнил пробел, существующий в нашей исторической науке.

я находила несправедливым, что Тит, Марк Аврелий и все великие мужи древности, притом столь добродетельные, были осуждены на вечные муки, так как не знали Откровения. Я спорила жарко и настойчиво и поддерживала свое мнение против священника: он обосновывал свое мнение на текстах Писания, а я ссылалась только на справедливость. Священник прибег к способу убеждения, которого придерживался святитель Николай: пожаловался Бабет Кардель (камер-фрау Екатерины. – *О.Ч.*) и хотел, чтобы меня убедила розга. Бабет Кардель не имела разрешения на такого рода доводы; она лишь сказала мне кротко, что неприлично ребенку упорствовать перед почтенным пастором и что мне следовало подчиниться его мнению. Бабет Кардель была реформаткой, а пастор очень убежденным лютеранином».

(Вряд ли юный голштинский герцог Ульрих задавался такими проблемами и вел такие горячие религиозные дебаты.)

«Второй спор, – продолжает Екатерина, – вращался около вопроса о том, что предшествовало мирозданию. Он мне говорил – хаос, а я хотела знать, что такое хаос. Никогда я не была довольна тем, что он мне говорил. Наконец мы оба поссорились, и Бабет Кардель была снова призвана на помощь... Признаться, я сохранила на всю жизнь обыкновение уступать только разуму и кротости; на всякий отпор я отвечала отпором». По счастью, от жестокости и категоричности священника девочку защищали. «Сей духовный отец чуть не поверг меня в меланхолию (как мы бы сегодня сказали – в депрессию. – *О.Ч.*): столько наговорил мне о Страшном суде и о том, как трудно спастись. В течение целой осени каждый вечер на закате дня ходила я плакать к окошку». Сперва этого никто не замечал, потом стали девочку расспрашивать, и когда она наконец призналась в причине своих тревог, у камер-фрау «хватило здравого смысла, чтобы запретить священнику впредь страшить меня такими ужасами».

Невозможно предположить, что вопрос о перемене веры не вставал в семье Ангальт-Цербстской принцессы, когда ее поездка в Россию была решена. Ни у кого не могло быть и тени сомнения, что Елизавета, глава православной церкви, к тому же сама чрезвычайно набожная, не допустит, чтобы российской великой княгиней, а стало быть, и возможной российской императрицей, стала лютеранка. И конечно, вопрос этот был решен до отъезда принцессы в Россию.

В чем состояло наставление принца Христиана Августа? Он разрешал дочери переменить религию только в том случае, если она найдет новую веру согласной с прежней, что совсем не так уж и трудно было сделать: обе религии были христианскими, обе противостояли римскому престолу, папству с его жадной политической власти, к которой ни лютеранство, ни православие не стремились. Словом, при желании да еще при помощи опытного богослова не так уж и трудно прийти к заключению, удобному для всех сторон, что между православной и лютеранской церквями всего лишь «внешние обряды различны». А мудрый XVIII век и особенно здравомыслящие его представители большого значения обрядам не придавали. Кстати, если верить Запискам, еще дома полковой священник отца не раз объяснял принцессе, что до первого причастия каждый христианин «может выбирать себе веру, которая ему кажется наиболее убедительной». Так что вряд ли тут можно говорить о духовной трагедии отца и какой-либо ломке, происшедшей в сознании дочери. И о предательстве.

Когда ее крестили, она произнесла Символ веры так правильно и чисто, что придворные плакали, в том числе и сама императрица. А русскому языку юная Екатерина училась со страстью, вскоре смогла по-русски отвечать на вопросы Елизаветы, чем чрезвычайно угодила императрице. Все складывалось наилучшим образом. Маленькая нищая немецкая принцесса (она сама говорит о невероятной скудности гардероба, с которым приехала) стала русской великой княгиней, была окружена почетом, жила в роскоши блестящего двора, она не только сама ходила в соболях, но и ее карета была обита соболем; прежде вовсе не имевшая драгоценностей, теперь она была осыпана бриллиантами. А впереди ее ждала российская корона, та самая, которую ей давно предсказали.

Записки Екатерины хороши, в них ее ум, живость, темперамент, есть в них тонкий психологизм, они согреты мягкой иронией. Им можно доверять (если не считать некоторых тем, в той или иной степени касающихся политики, их легко распознать). Но есть у них и крупный недостаток: они написаны по-французски и тем выпадают из ряда замечательных русских мемуаров с их подчас корявым, но сильным, ярким неповторимым языком – именно тут, в дневниках, записках, воспоминаниях, не видевших печатного станка и на него не рассчитанных (их напечатал XIX век), лежащих в письменных столах и секретерах (а порой и в пыльном ящике на чердаке), созревала будущая великая русская литература.

Второй недостаток екатерининских Записок – общий со всей русской мемуаристикой XVIII века – это их бескрасочность, они черно-белые и тем самым неполно отражают свой век, который, напротив, горел яркими красками (если говорить о мире дворянства, особенно высшего). Это он создал веселую моду белоснежных париков, это он одел мужчин и женщин в сверкающие шелка и бархат с его глубинной красотой, заткал их платья золотыми и серебряными нитями. Это он расписал каминные экраны птицами и цветами, разрисовал веселыми узорами веера и все, что можно было разрисовать – вплоть до атласных жилетов, вплоть до пуговиц на них. Сами жилища знати становились подобием храма искусств. Потолки, как правило, были предоставлены пышным аллегориям – и как весело смотреть на это нагромождение розового и голубого, тающего, на великолепный поток апофеоза с его флотилией облаков, на эти очаровательные фигуры в их свободных поворотах. Тут и Слава, венчающая героев, тут и Виктория, трубящая победу, тут наяды с тритонами, тут и Диана с месяцем во лбу. Все это клубящееся, мчащееся (на колесницах, на дельфинах или в собственном полете), несомненно, отражает XVIII век с его надеждами, с его энергией – он ведь и сам был в полете.

Мемуаристы XVIII века, как и вся его литература, не могли написать портрета человека – но в том-то и состоит наша с вами удача, что этот век, еще сильно отстававший в прозе и поэзии, был очень силен в портретной живописи, художники-портретисты умели уже многое, научились писать лицо человека во всем богатстве его чувств (не только главное в нем – глаза, но и самый их взгляд).

Иван Вишняков написал портрет реальной девочки, дочки генерала. Это девочка елизаветинской эпохи (примерно одного поколения с Екатериной), и при взгляде на ее портрет разом оживают мемуары эпохи (и екатерининские Записки в том числе).

Она знаменита, Сарра Фермор, написанная Вишняковым, ее портрет висит в Русском музее Санкт-Петербурга. Посетители музея, если даже они равнодушно ходят по залу, где развешаны портреты XVIII века, перед Саррой Фермор разом останавливаются, словно та сама преграждает им путь. Она в фижмах, напудрена, в руках сложенный веер – маленькая светская дама, закованная не только в корсет своего негнувшегося платья, но еще и в предписания не менее жесткого этикета. Зато сколько живой жизни в ней накопилось – она кажется душой XVIII века. Похожа она на маленькую Екатерину? Приглядимся.

Она умна, это несомненно, интеллигентная девочка с тонкой духовной организацией. Но она также и себе на уме (такой мы на каждом шагу видим Екатерину – и в Германии, и в России), глядит с расчетом и осторожно, Сарра Фермор, в глазах светится любопытство – в ней очарование белки, которая рассматривает вас с дерева и в любую минуту готова прыгнуть прочь (это любопытство к жизни – отличительная черта юной Екатерины).

Могла бы Сарра Фермор, будь она помладше, скакать ночами на почтовых верхом на подушке? Вряд ли, у нее вроде бы нет той бешеной жизненной силы, что была присуща Екатерине. Но промчатся легким бегом ночью вниз и вверх по парадной лестнице? – может быть; а если это и было в намерении, то, как и все ее прочие умыслы, останется в ее голове, она (как и Екатерина) не выдаст себя ни единым неосторожным словом. Кажется, Вишняков видел ее глазами старшего брата, потому и удалось ему проникнуть в словно закованную жизнь; именно эта его сдержанная, чуть насмешливая нежность и позволила ему разгадать все умыслы и уловки

этой юной светской дамы. А общим у них, двух жительниц одной эпохи, наверно, была та музыкальная менуэтная грация, что отличала в XVIII веке девочек дворянского круга.

Но самое главное в них – они независимы. В какие бы обстоятельства они ни попали, ничто не помешает развитию их ума и души.

А вот и сама Екатерина в ее пятнадцать лет. Она при дворе, задарена и обласкана. Однажды, это было в феврале 1745 года, праздновали рождение великого князя. «Императрица, – пишет Екатерина, – меня очень ласкала. Она мне сказала, что русские письма, которые я ей писала в Хотилово (где перед этим «лежал в оспе» великий князь. – *О. Ч.*), доставили ей большое удовольствие (по правде сказать, они были сочинены Ададуровым, но я их собственноручно переписала); и что она знает, как я стараюсь выучить местный язык. Она стала говорить со мной по-русски и пожелала, чтобы я отвечала ей на этом языке, что я и сделала, и тогда ей угодно было похвалить мое хорошее произношение. Потом она дала мне понять, что я похорошела с моей московской болезни; словом, во время всего обеда она только тем и была занята, что оказывала мне знаки своей доброты и расположения. Я вернулась домой очень довольная этим обедом и очень счастливая, и все меня поздравляли. Императрица велела снести к ней мой портрет, начатый художником Караваком, и оставила его у себя в комнате».

Этот портрет долго странствовал по свету, но все же сохранился и теперь находится в запаснике одного из пригородных музеев Санкт-Петербурга. Луи Каравак приехал в Россию еще при Петре I и стал русским художником не только потому, что вошел в художественную жизнь страны и создавал портреты русских царей и придворных, но и потому, что сам поддался сильному влиянию русской школы. К сожалению, в нем нет того неповторимого таланта, каким обладал Вишняков, но было у него огромное достоинство: он был правдив и схватывал сходство (и про портрет Екатерины говорили, что она на нем как живая).

Итак, портрет работы Каравака. Чтобы его понять, достаточно сравнить его с одним из более поздних ее парадных портретов, написанным Г. К. Гроотом. Это тоже изящный портрет, художник отлично пишет кружево и драгоценности, мерцающие серьги, аграф в волосах и жемчуга на запястье (всего этого Вишняков, по-видимому, еще писать не умел), но он поражает отсутствием не только сходства, но и какого бы то ни было чувства (кроме необходимой легкой придворной любезности). Нам куда интересней разглядывать эти серьги и кружева, стянутый атласом стан и орденскую ленту, чем лицо самой модели, – перед нами типичный парадный портрет, где художник писал не столько человека, сколько его общественное положение.

Цель Каравака – сама модель. Правда, здесь нет той затаенной жизни, что была в портрете Сарры Фермор; тело Екатерины неотчетливо отделено от фона и как бы тонет в нем. Зато насыщенная коричневая гамма (меха, платье, волосы) хороша и благородна – чуть легкого кружева, немного драгоценностей, цвет красной орденской ленты сильно притушен, ничто не отвлекает нашего внимания от юного лица.

Вот какой она была в пятнадцать лет.

Конечно, она не так хороша и изысканна, как Сарра Фермор, но и это лицо к себе притягивает – длинное изящное лицо с маленьким, слегка вдавленным ртом, углы которого углублены тенями, кажется, вот-вот появится улыбка – та, которую впоследствии запомнят и прославят, ее тут можно угадать. Волосы сильно оттянуты назад, открыт красивый лоб. А главное, конечно, это глаза, большие, светящиеся, очень яркие и словно бы потемневшие от всего того, что ей только что удалось увидеть и что ей еще предстоит. Самое большее, на что она, оставаясь в Германии, могла рассчитывать, – это какой-нибудь жалкий кусок Ангальт-Цербста, доставшийся ей после семейного раздела, – а тут ей, правда, в еще неясной дали, виделась неограниченная власть над грандиозной империей. Конечно, она полна ожиданий, видно по глазам.

Перед нами живое, гармоничное лицо. Ее мать Иоганна Елизавета ошиблась, убеждая девочку, что та дурна лицом. Нет, в нем начинается чувствоваться обаяние. Нетрудно заметить также, что это уже и волевое лицо.

Наконец герцогиня Иоганна Елизавета, после бесчисленных конфликтов, в ходе которых она не раз ставила дочь в весьма затруднительное положение, отбыла из Санкт-Петербурга (уехал ли с ней камергер Иван Бецкой?), оставив дочери свои долги, столь значительные, что Екатерина смогла с ними расплатиться, только будучи уже императрицей.

Екатерина осталась одна.

* * *

Что вырастет из этой голенастой девочки? Вопрос, казалось бы, странный: она давно уже выросла, она двести лет назад умерла, о ней написаны монографии и романы, высказано множество суждений. Какой живет она в общественном сознании России? Каким помнится ее царствование?

Задача историка – вернуть прошлое – очень заманчива и очень трудна: историческое полотно дыряво. Мелкие дыры в нем на каждом шагу, но бывают и огромные, как кажется, уже невозполнимые. Особенно трудно возрождать личность. Свидетельства современников? Но ни один из них не был беспристрастен, симпатии и антипатии, любовь и ненависть могут присутствовать тут в любых пропорциях. Казалось бы, смерть должна усмирить страсти: могильный холм или саркофаг в соборе ничего уже нового нам не сообщат. На самом деле как раз после смерти споры и разгораются – теперь на знаменитого деятеля направлены «концептуальные прожекторы», они резко скрещиваются меж собой (иной ученый автор отстаивает свою концепцию с такой яростью, с какой волчица защищает детеныша).

Но есть тут и другое: воспоминание современника – это луч, который выхватывает одну какую-нибудь грань личности, другие оставляя в темноте, и сколько бы воспоминаний мы ни собрали вместе, образ человека будет лишь совокупностью бликов, он приблизителен и неустойчив.

Зато концептуальный образ, напротив, бывает скроен весьма отчетливо и, главное, разом, с ног до головы. При этом автор не только объясняет любой поступок своего героя, но запросто читает его мысли и без всяких затруднений разгадывает намерения, которые самому герою, как правило, и не снились. Блики, тени, оптические обманы.

Екатерине в этом смысле особенно не повезло, и особенно в советской историографии: здесь к ней установилось единодушное отношение, не просто враждебность, а какая-то патологическая ненависть. Ее судят по законам классовой борьбы, и приговор бывает один: лютая крепостница под либеральной маской.

Любопытно, что Петра I судят по каким-то другим законам, и он вовсе не крепостник, а, напротив, – царь, который чуть ли не «за советскую власть». Если он великий реформатор, двинувший страну по пути просвещения и прогресса, то Екатерина прежде всего хитроумный демагог: только то она и делает, что заигрывает и кокетничает (с Вольтером и другими деятелями Просвещения), иногда «носитя с планами», всегда попусту; и при этом все время вынуждена отступать перед «либеральными, демократическими силами» (которых, замечу, в тогдашней России днем с огнем не найдешь). Она вообще перестала существовать как человек и правитель России и стала «представителем» – дворянского сословия, абсолютистской монархии, крепостнического строя – и в таком виде в лучшем случае никого не интересует, а в худшем – вызывает отвращение.

А широкий читатель, бедняга, вынужден был питаться историческими романами, на страницах которых выплясывала странная фигура – то она английская шпионка, то бабенка, разбитная и хваткая, а то и хладнокровная злодейка.

Как же это получается? Жил на свете человек, со своей душой, со своей судьбой, и кто-то смеет приписывать ему слова, которые он не произносил, поступки, которые не совершал, в

том числе и недостойные слова, неблаговидные поступки (мы уж не говорим о преступлениях). Кому дано такое право? Принцип презумпции невиновности тут особенно необходим: память человеческая склонна вести дурной отбор, бессовестно забывая благородные черты и добрые дела, а какую-нибудь дрянную подробность храня так бережно, словно это лучшее ее достояние. Недаром у Пушкина: «Человек по природе своей склонен более к осуждению, нежели к похвале (говорит Макиавелль, сей великий знаток природы человеческой)».

Любопытно, что уже с самого начала царствования Екатерины представления о ней двоились. Она триумфально пришла к власти, гвардейские полки присягали ей один за другим, но вскоре среди тех же гвардейцев начались волнения. Семеновский и Преображенский полки однажды всю ночь стояли под ружьем, не расходились, кричали, что хотят на престол Ивана Антоновича, и «называли императрицу поганою». Во время ее путешествия по Волге крестьяне приносили свечи, чтобы ставить перед ней, как перед божеством, а народные проповедники причисляли ее к племени антихристову.

Впрочем, и там, где молились, и там, где проклинали, отношение к Екатерине было безлично – не к ней, живому человеку, а к императрице. Но и в непосредственном ее окружении опять же все двоилось. Княгиня Е. Р. Дашкова одновременно и влюблена в нее, и ненавидит, говорит о темных пятнах на ее светлой короне. Державин восторженно восславил свою Фелицу (царевну, взятую им из сказки, написанной самой же Екатериной), то был гимн Екатерине, ее мудрости, доброте и благородству. Однако впоследствии поэт с грустью понял, что от близкого знакомства прототип Фелицы отнюдь не выиграл, «ибо издавек те предметы, которые ему (Державину – в своих записках он пишет о себе в третьем лице. – *О. Ч.*) казались божественными и приводили дух его в воспламенение, явились ему при приближении ко двору весьма человеческими и даже низкими и недостойными Великой Екатерины, то и охладил так его дух, что он почти ничего не мог написать горячим, чистым сердцем в похвалу ее». Когда статс-секретарь Екатерины А. Храповицкий просил поэта вновь воспеть ее в стихах, Державин отказался, ответив стихами же: «Ты сам со временем осудишь / Меня за мглистый фимиам». В каком случае великий поэт ошибался?

Да, вокруг нее было много мглистого фимиама, но искреннего восхищения тоже немало, в том числе и людей, которые знали ее вблизи и очень хорошо. О ее уме, обаянии, очаровании даже написано много и написано искренне.

Тут наша надежда на Пушкина – он Екатериной живо интересовался, знал многих ее современников, расспрашивал их, записывал их рассказы. Его ясный ум, поэтическая интуиция, мудрое спокойствие историка, отличное знание материала должны служить прочной опорой верному суждению.

В 1822 году по поводу Екатерины Пушкин высказывался дважды.

В Кишиневе он написал статью, которая потом получила название «Заметки по русской истории XVIII века». Именно отсюда и почерпнуты самые известные – и самые убийственные – отзывы его о Екатерине. «Она знала, – пишет Пушкин, – что ее любовники грабят страну, и молчала», отсюда пошли колоссальные богатства новой знати, отсюда же «и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера и до последнего протоколита все крало и все было продажно. Таким образом, развратная государыня развратила свое государство».

Но и это еще не все. «Екатерина уничтожила звание (справедливее – название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепила вольную Малороссию и польские провинции». Она любила просвещение, а просветитель Новиков был в тюрьме до самой ее смерти, и Радищев был в сибирской ссылке. Даже любимое детище Екатерины, ее знаменитый Наказ депутатам Уложенной комиссии, ничего кроме презрения у Пушкина не вызывает: «фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная,

имела в Европе свое действие; «Наказ» ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить ее наряду с Титами и Траянами, но, перечитывая сей лицемерный «Наказ», нельзя воздержаться от справедливого негодования. Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и в короне, он не знал, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна». И наконец: «Со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия – и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России». Даже так.

В том же 1822 году Пушкин написал «Послание цензору», где есть такие строки:

Скажи, читал ли ты Наказ Екатерины?
Прочти, пойми его; увидишь ясно в нем
Свой долг, свои права, пойдешь иным путем.

Постойте, как же это? Только что было сказано о «фарсе депутатов, столь непристойно разыгранной», и о самом Наказе, что он лицемерен и что, перечитывая его, нельзя воздержаться от праведного негодования, а теперь предложено его читать, углубляться в него – и с тем понять, что такое свобода слова.

В глазах монархини сатирик превосходный
Невежество казнил в комедии народной.

Надо помнить, что под «невежеством» тогда понимали нравственную темноту, стало быть, Пушкин говорит о том, что Екатерина выступала против общественных пороков вместе с Фонвизиним.

Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры
Их горделивые разоблачал кумиры;
Хемницер Истину с улыбкой говорил,
Наперсник Душеньки двусмысленно шутил,
Киприду иногда являл без покрывала —
И никому из них цензура не мешала.

А ведь Пушкин перечисляет передовых деятелей екатерининского времени, это те самые, о ком в «Заметках» им сказано: «подлость русских писателей для меня непонятна».

Что ни говори, а непререкаемый пушкинский авторитет в одном и том же году представил нам две противоположные точки зрения на Екатерину «Развратная государыня развратила свое государство»? – но у Пушкина можно прочесть и другое: «В России было только три самобытных деятеля просвещения: Петр I, Ломоносов и Екатерина». И наконец, тезис статьи, которую Пушкин собирался написать: «Екатерина, ученица XVIII столетия. Она одна дает толчок своему веку».

Но есть у Пушкина стихотворение, найденное в черновиках. Оно требует особого внимания. «Мне жаль великия жены» – так оно начинается, и нам неясно, всерьез ли Пушкин жалеет Екатерину, всерьез ли перечисляет ее заслуги; «Мы Прагой ей одолжены (имеется в виду взятие предместья Варшавы. – *О. Ч.*), и просвещеньем, и Тавридой», она заслужила имени Минервы; «в аллеях Сарского (первоначальное наименование Царского) села она с Держави-

ным, с Орловым беседы мудрые вела», все это говорено, кажется, уже с полной серьезностью, и вдруг тут же сплошная ирония:

Старушка милая жила
Приятно и немножко блудно,
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла...

Весело, изящно – и неточно, хотя бы потому, что Екатерина, когда «Наказ писала, флоты жгла», была молода и в расцвете творческих сил.

Но самое главное – окончание. Сперва идет незавершенная строчка: «с тех пор (тут следуют многоточия, показывающие, что автор не нашел нужных слов) мгла», однако мысль очевидна: вслед за правлением Екатерины наступил мрачный период упадка.

И вдруг три строки поразительной экспрессии:

Россия, бедная держава,
Твоя удушенная слава
С Екатериной умерла...

Словно бы неожиданно для поэта охватила его тревога, напала тоска. Откуда они? Одно несомненно: с таким внутренним оксюмороном – соединением несоединимого – стихотворение и не могло быть закончено.

«Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и душегрейке. Ей было лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую» – это Екатерина из «Капитанской дочки», встреча с Машей в Царскосельском парке. «Все в неизвестной даме привлекало сердце и внушало доверие» – ни малейшего следа «Тартюфа в юбке и короне»: царица сдержала слово и с большой деликатностью и достоинством сыграла роль спасительной, спасающей судьбы.

Нам остается одно: самим исследовать эту жизнь, тем более что в нашем распоряжении есть надежные источники. Сколько бы мы ни говорили о том, что образы, составленные историками, неполны, что они состоят из теней и бликов, все-таки подлинность нередко можно доказать. Мы располагаем таким первосортным материалом, как мемуаристика второй половины XVIII века, ее авторы, как правило, писали для узкого круга (друзья, родные, чаще всего «любезные дети»); для них это была важная духовная работа – они честно вспоминали собственную жизнь, подводили ее итоги, старались передать близким свой нравственный опыт. Правдивость и простодушие – вот общая особенность мемуаристики этого периода, что делает ее первоклассным историческим источником.

Но есть у нас и еще одна возможность близко узнать екатерининский век – редчайшая: это его портретная живопись, внимательная к внутреннему миру человека, исполненная тончайшего психологизма и истинного благородства. Поскольку все персонажи этой книги (почти без исключений) были моделями великих художников своего времени, мы можем действительно заглянуть им в лицо. Это уже не тени и не блики, это полнокровные реальные образы; несмотря на то что они недвижны, в них подлинная жизнь, и чем больше в них всматриваешься, тем больше они оживают.

Пользуясь всеми видами этих источников, мы и начнем наши разыскания. А поскольку Екатерина и ее царствование сильно перепачканы, нам неизбежно придется смыть эту грязь, порой просто соскрести ее – впрочем, равно как и позолоту, иногда не менее вредную. (А на

обочине нашего повествования будет шагать огромная тень Петра – даже если бы мы его не позвали, он все равно сам бы пришел.)

* * *

Елизавета Петровна, поскольку была отлично сложена и любила рядиться в мужской костюм, устраивала маскарады, где мужчины одевались женщинами, а женщины мужчинами. «На этих маскарадах мужчины вообще были злы, как собаки, – сообщает Екатерина, – потому что не могли справиться со своими гигантскими фижмами, женщины в мужских костюмах были и того безобразней; вполне хороша была только императрица, к которой мужское платье отлично шло». «Сивере, тогда камер-юнкер, – продолжает Екатерина, – был довольно большого роста и надел фижмы, которые дала ему императрица; он танцевал со мной полонез, а сзади нас танцевала графиня Гендрикова: она была опрокинута фижмами Сиверса, когда тот на повороте подавал мне руку; падая, он так меня толкнул, что я упала прямо под его фижмы, поднявшиеся в мою сторону; он запутался в своем длинном платье, которое так раскачалось, и вот мы все трое очутились на полу, и я именно у него под юбкой; меня душил смех, и я старалась встать, но пришлось нас поднимать; до того трудно было нам справиться: мы так запутались в платье Сиверса, что ни один из нас не мог встать, не роняя двух других».

Смешная сцена? Конечно. Эта гигантская твердая юбка, раскачавшаяся с такой силой, что смогла поглотить не только графиню Гендрикову, но и великую княгиню, показалась бы невероятной и неправдоподобной даже для какой-нибудь современной кинокомедии из жизни российского двора.

Веселая сцена? Не очень. Это Екатерина ввиду крайней своей молодости хохотала, очутившись под юбкой камер-юнкера, но самому камер-юнкеру вряд ли было так уж весело. Времена шутов, которых так любила дикая императрица Анна Иоанновна, особенно когда превращала в шутов кого-нибудь из родовитой знати, давно прошли. Мужчины на балу у Елизаветы (отобранный круг) были не только злы, как собаки, они не могли не чувствовать нелепости и униженности своего положения.

Особенно худо приходилось молодым и красивым фрейлинам, которым императрица не могла простить их молодости и красоты. Елизавета то заставляла их переодеваться, если их платье было особенно красиво, то, возмущенная их прическами, самолично ножницами отстригала красивые локоны (не отзвук ли это насильственно отрезаемых боярских бород при Петре?).

Но была ли хотя бы тень бунта или негодования в душе этих фрейлин или камер-юнкера Сиверса, который вынужден был путаться в юбке и валяться по полу на виду у всех? Да, кавалеры были злы, как собаки, но что это была за злость, какого, так сказать, сорта: протест личности, которая чувствует себя униженной, или же они относились к воле государыни как к грозе, метели и другому явлению природы, которое можно в сердцах проклинать, но с которым нет возможности спорить, а потому и чувствовать себя оскорбленным смысла не имело? Откуда у этой слегка поврежденной в уме женщины была власть распоряжаться судьбами людей (и даже их жизнями), в том числе самых высокопоставленных? Как представляли себе это ее современники – не в политических трактатах, а в простой жизни? Эта власть идет от вековой традиции – ответили бы они – и от божественного установления. Помазание на царство!

Любопытен один эпизод, происшедший во дворце Елизаветы, где были особые покои, куда не могли входить слуги (кушанья поднимались снизу особым столом), и где Елизавета ужинала и проводила время с Алексеем Разумовским и узким кругом лиц. Петра Федоровича эти покои очень интересовали, а поскольку они были через стену с его комнатой и дверь туда была заколочена, он взял плотничный инструмент, просверлил в двери несколько дырок, сам смотрел и приглашал смотреть своих приближенных (позвал было и Екатерину, но та отказа-

лась). Увидев, что дверь вся просверлена, Елизавета Петровна пришла в ярость, устроила племяннику скандал «и так разъярилась, что не знала уже меры гневу своему». Что же она кричала своему наследнику во гневе, потеряв голову? Что великий князь обнаружил по отношению к ней неблагодарность, которая в те времена числилась в ряду тяжких пороков и представлялась чем-то вроде нарушения верности? Она сказала, что отец ее, Петр I, тоже имел неблагодарного сына и лишил его наследства; неизвестно, прибавила ли, что царевич по приказанию отца был пытан страшной пыткой и на ней умер, что отец при ней присутствовал и, говорят, сам пытал царевича, – Екатерина об этом, разумеется, ничего не говорит, но ведь многие знали об этом, и Елизавета не стыдится такой преемственности методов.

Любопытно: она ненавидела Анну Иоанновну, свою предшественницу, эту огромную бабищу («Престрашного была взора, – говорит о ней современница. – Отвратное лицо имела; так была велика, когда между кавалеров идет, всех головою выше, и чрезвычайно толста»); она своими глазами видела низость ее нрава, убожество вкуса (шуты, «ледяной дом»), ее мстительность и зверскую жестокость (чудовищные казни Долгоруковых, Волынского и других); видела, что власть над страной в руках Бирона, бывшего конюха, знала, что у нее, дочери Петра Великого, куда больше прав на российский престол, чем у дочери слабоумного Ивана, недолгого соправителя Петра; и что ей, Елизавете, надо спасать Россию.

И вот теперь, в минуту гнева, упрекая племянника в неблагодарности, она утверждала, что всегда выказывала Анне уважение, «подобающее венчанной главе и помазаннице Божьей; что эта императрица не любила шутить и сажала в крепость тех, кто ей не оказывал уважения; что он мальчишка, которого она сумеет проручить».

«Помазание Божье» не связано с нравственными качествами: подобно тому, как священник, каков бы он ни был – хоть пьяница, хоть вор, – все равно носитель благодати, и крестины или бракосочетание, им совершенные, имеют неоспоримую силу, так и обряд помазания на царство давал правителю невиданное могущество. Перед нами магия христианства, его вера в великую, как бы волшебную силу, не имеющую никакого отношения к добру и справедливости. Надо думать, Елизавета не лукавила, когда говорила о почтении, подобающем любой «венчанной главе», что бы в этой главе ни содержалось. Ее собственная глава была не очень крепка; вместе с тем, как человек умный, она не могла не догадываться, что на российском престоле мог быть кто-нибудь более достойный, но раз уж она венчана на царство и таким образом свершилась воля Божья, она самодержавной властью владеет по праву. Окружающие, по-видимому, думали так же.

Придворные, например, не имели права вступать в брак без разрешения императрицы, и она же должна была назначить день свадьбы, но забывала назначить или почему-то откладывала – так порой длилось годами, – и никто не осмеливался напомнить ей или спросить о причинах отсрочек: все это покорно укладывалось в понятие самодержавности и помазания Божьего.

Нетрудно себе представить, что при такой психической неустойчивости Елизавета Петровна недолго будет благоволить к своей новой племяннице. Екатерина твердо решила, что главная ее обязанность – нравиться императрице, но оказалось, что это не так-то легко исполнить.

Поначалу все словно бы шло хорошо, великой княгине дали в услужение русских горничных (для практики в языке), все они были молодые и веселые, а Екатерина всех моложе и веселей. Среди горничных ей больше всего нравилась Маша Жукова, которая казалась умнее, веселее и общительнее других. Однажды Екатерина позвала эту девушку, ей сказали, что та ушла к больной матери. На следующее утро – тот же ответ. Тут же императрица позвала к себе Екатерину и в крайнем гневе заявила, что Жукова уволена по просьбе Иоганны Елизаветы, которая говорила об этом с императрицей перед своим отъездом. Ложь была слишком очевидна: Иоганна Елизавета этой девушки не знала и просить об ее увольнении не могла. Пони-

мая, что Маша Жукова пострадала из-за нее, Екатерина послала ей со своим камердинером деньги, но оказалось, что девушка со своей матерью уехала в Москву. Тогда великая княгиня решила выдать Машу замуж, нашла подходящего гвардии сержанта, дворянина, он поехал в Москву, дело сладилось, они поженились – и тотчас были сосланы в Астрахань. Это был первый случай, когда Екатерина почувствовала жесткую руку императрицы, но не последний.

Из свиты великих князей стали исчезать люди. В числе любимцев Петра Федоровича были трое братьев Чернышевых, особенно отличал он Андрея, которым очень дорожил, то был их общий друг, Петра и Екатерины. Вокруг этой их дружбы пошли тревожные разговоры, за ними всеми явно шпионили, и вдруг оказалось, что все трое братьев произведены в поручики и посланы служить в Оренбург.

Много позже камердинер Екатерины, причесывая ее, рассказал невероятную историю: он гулял на Масленице в компании, где был служащий из Тайной канцелярии (эта Тайная розыскных дел канцелярия, высший орган политического сыска в России, имела самую мрачную славу и вызывала всеобщий ужас), они отправились в сани кататься в имение императрицы Рыбачью слободу, в гости к управляющему имением. Там между прочим возник спор, в какой день будет Пасха, и хозяин дома решил послать за Святцами, где указаны праздники на несколько лет вперед, к заключенным, которые тут же, в имении, и содержались. Принесли Святцы, и на первой же странице прочли имя Андрея Чернышева, написанное в тот день, когда Петр Федорович подарил ему эту книгу.

Оказалось, что братья ни в какой Оренбург не ездили, а были сразу взяты в Тайную канцелярию и сидели под арестом в Рыбачьей слободе.

Вокруг Екатерины постепенно стал возникать мертвый круг. Специальным распоряжением императрицы никому без особого разрешения не было дозволено посещать ее покои. К ней была приставлена одна из статс-дам императрицы, Мария Чоглокова, которая с небывалым усердием принялась исполнять роль тюремной надзирательницы. Переписка с родными была великой княгине запрещена, свои письма матери она должна была отдавать в ведомство, ведающее иностранными делами, и их сильно редактировали. Все кругом было ненадежно и пахло предательством.

В тот год, 1746-й, она читала Платона.

А 1747 год начался для нее трагически – ей сказали, что умер ее отец. Известие это поразило Екатерину. «Мне дали досыта наплакаться, – пишет она, – но по прошествии недели Чоглокова пришла мне сказать, что императрица приказала мне перестать, что мой отец не был королем. Я ответила, что это правда, что он не король, но что он мой отец; на что она возразила, что великой княгине не подобает долее оплакивать отца, который не был королем, и что потеря невелика». Выговор этот исходил от императрицы.

Екатерина была одинока и ниоткуда не видела помощи. Казалось бы, брак с Петром Федоровичем должен был бы как-то их сблизить, тем более что оба они были одиноки при елизаветинском дворе. Да только был ли ее брак браком?

Вот как описывает она день свадьбы. Утром она пришла в покои императрицы, где уже лежало ее венчальное платье; ее камердинер Евреинов стал было завивать ее челку, но тут явилась Елизавета Петровна, и из-за челки началась целая история. Второй раз императрица пришла надеть на невесту великокняжескую корону, очень тяжелую, потом ее облекли в платье, расшитое серебром, и оно было «страшной тяжести». Торжественное свадебное шествие направилось в церковь Казанской Божией Матери, где молодых и обвенчали. Потом был обед. После обеда Екатерина стала просить графиню Румянцеву, могущественную статс-даму, хоть на минуту снять с нее корону, но та не посмела.

Таков был день. А вот какова была брачная ночь. Дамы раздели новобрачную и уложили в постель. Мы не знаем, каковы были ее чувства, известно только, что она просила одну из этих дам побыть с нею, но та не согласилась. Все ушли, и Екатерина осталась одна. Так прошел час,

потом еще час. Она не знала, что ей делать – вставать или оставаться в постели. Великий князь тем временем ждал ужина, а поужинав, пришел к ней, лег и заснул. Екатерина плохо спала, а наутро дневной свет показался ей очень неприятен. «И в этом положении дело оставалось в течение девяти лет, – пишет она, – без малейшего изменения».

Тут мы должны прервать нашу героиню, чтобы несколько ее поправить. Характер великого князя засвидетельствован другими источниками, вполне подтверждающими ту характеристику, которую дает ему Екатерина, и все же полностью доверять ей тут нельзя, в особенности когда дело прямо или косвенно касается власти (а брачные отношения этой юной пары носят характер политический). Мы располагаем краткой записочкой Петра Федоровича, он написал ее Екатерине в 1746 году (примерно на второй год их брака). «Мадам. Прошу вас не беспокоиться нынешнюю ночь спать со мной, потому что хватит меня обманывать, постель стала слишком узкой – после двухнедельной разлуки с вами, сегодня полдень. Ваш несчастный муж, которого вы никогда не удостаиваете этого имени. Петер». Как видно, образ кроткой, брошенной и вечно угнетаемой жены, какой нарисовала в своих воспоминаниях Екатерина, не совсем отвечает действительности.

Даже если бы муж был добр к ней, все равно на него вообще нельзя было положиться: по словам Екатерины, он хранил свои тайны, как пушка – свой выстрел; в жизни двора, в условиях свар, интриг и доносов, свойство весьма опасное. К тому же он никогда жену не защищал. Впрочем, оба они были несчастны: их жизнь была жизнью узников – об этом свидетельствуют письма Петра к елизаветинскому фавориту Шувалову, они без даты, но по многим признакам можно заключить, что Петр уже взрослый человек. «М. Г. Я вас просил через Льва Александровича (Нарышкина. – *О. Ч.*) о дозволении ехать в Ораниенбаум, но я вижу, что просьба моя не имела успеха, я болен, я в страшной тоске. Именем Бога заклинаю вас, уговорите Ее Величество разрешить мне уехать в Ораниенбаум, если я не брошу эту прекрасную придворную жизнь, чтобы хоть немножко побыть на воле и насладиться деревенским воздухом, то, наверно, околею со скуки и с досады, вы вернете меня к жизни, если сделаете это, и весьма обяжете того, кто останется на всю жизнь преданный вам Петр».

Нетрудно заметить, как унижен этот молодой человек: даже к Шувалову он, великий князь, не может обратиться непосредственно, а делает это через одного из приятелей фаворита. Петр просит, и просьбы его отклонены. Он, как и Екатерина, ненавидит придворную жизнь, как и она, рвется к той малой свободе, которую предоставляет загородное поместье. Если в Ораниенбаум Петра все-таки пускали, то другую настоятельную просьбу – отпустить его на два года за границу – отклоняли неукоснительно. Этот недавний наследник двух блистательных корон оказался в тесной (даже не очень и золоченой) клетке, той же самой, что и его жена.

Как всякий «политзаключенный», великая княгиня должна была думать прежде всего о том, как ей выжить в предложенных условиях. Как сохранить себя и добиться желанной российской короны. «Вот рассуждение или, вернее, заключение, – пишет она, – которое я сделала, как только увидела, что твердо остаюсь в России, и которое я никогда не теряла из виду ни на минуту: 1) нравиться великому князю, 2) нравиться императрице, 3) нравиться народу... Поистине я ничем не пренебрегала, чтобы этого достичь: угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать, как следует, искренняя привязанность, – все с моей стороны было к тому употреблено».

Автор одной из книг о Екатерине говорит, что в перечисленных методах его неприятно задело слово «угодливость», и считает это ее признание «откровенно циничным». На самом деле программа, изложенная великой княгиней, не только не цинична, она изображает то поведение, которое было приличным, надлежащим и похвальным в окружавшем ее обществе. Слово «угодливость» вовсе не звучало тогда так, как сейчас, и даже так, как оно звучало в грибоедовские времена. В XVIII веке в услужливости и угодливости видели черту добродетели. Человек в обществе должен быть по отношению к родным, сослуживцам, светским знакомым

услужлив, то есть готов оказать услугу; угодлив, то есть стремиться сделать так, чтобы другому было хорошо. А уж жена просто обязана была угождать мужу.

Ровным счетом никакого цинизма в екатерининской жизненной программе не было, напротив, было желание противопоставить поведению ее врагов, их злословию, злобе, клевете, всему тому, что было так распространено при елизаветинском дворе, образ, близкий к эталону женской нравственности. Разумеется, «искренняя привязанность» тут под большим вопросом, речь идет о тактике. Осуществление этой программы требовало огромного такта, ума и выдержки, но другого пути у великой княгини вообще не было, ум, незлобивость и обаяние были ее единственным оружием. В будущем эта жизненная позиция дала поразительные плоды, но, будучи княгиней, ни один из пунктов своей программы Екатерина не могла выполнить.

Великая княгиня была в плену, под жестким и злобным надзором. За каждым шагом ее шпионили специально приставленные к ней женщины. Как бы ни старалась она быть услужливой и покорной, как бы усердно она ни молилась, ни постилась, ни отстаивала в угоду императрице бесконечные церковные службы, ей ничто не могло помочь, в этом мире ненависти она была беззащитна.

И все же Екатерина нашла защиту.

Когда она только что приехала в Россию и пребывала в упоении от богатства нарядов, блеска бриллиантов и непрерывности балов, был человек, который предупреждал ее об опасности, – граф Гюлленбург, знавший ее еще в Германии.

Граф заметил, что она развита не по годам, и говорил окружающим, «что у нее философский склад ума». Приехав в Россию, он увидел, что девочка «поддается влиянию двора», думает только о нарядах. «Готов держать пари, что у вас не было и книги в руках с тех пор, как вы в России», – сказал он и посоветовал читать Плутарха «Жизнь замечательных мужей», Монтескье «Причины величия и упадка Римской республики» и другие серьезные книги. Екатерина достала некоторые из них, но ей стало скучно, и она бросила книги, чтобы вернуться к нарядам. Гюлленбург стал расспрашивать ее о ней самой, и чтобы граф лучше ее узнал, она написала ему некий автопортрет «Портрет философа в пятнадцать лет» (это сочинение попало ей на глаза тринадцать лет спустя, и она поразила точности самоанализа; до нас трактат не дошел (Екатерина сожгла его вместе с другими бумагами в минуту опасности). Граф Гюлленбург отнесся к «Портрету философа» очень серьезно и сказал, что она может разбиться о встречные камни, если только душа ее не закалится настолько, чтобы противостоять опасностям.

Наставления графа Гюлленбурга оченьгодились Екатерине. Могучим союзником ее стали книги.

Она заявила приставленной к ней надзирательнице, что запрещает горничным сидеть в ее комнате, как они обычно делают, пусть сидят в соседней. Она давно мечтала об этом – остаться наедине со своими книгами. Надзирательница, пишет Екатерина, «очень бы желала сунуть нос в мои книги, но она совсем не знала по-французски, так же, как и никто из окружающих меня. Часто, особенно вечером, она расспрашивала меня о моем чтении, но у меня был слишком хороший нюх, чтобы это могло ей удалиться; мой ответ был всегда очень лаконичен, я просто говорила ей, что, прочитав книгу, я тотчас забываю ее содержание». Режим действительно был более чем арестантский, тут заботились о том, чтобы юная великая княгиня не развивалась бы сверх меры и не умнела. Елизавета вообще выражала неудовольствие тем, что Екатерина «больно умна».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.